

Среди красных вождей

Вместо предисловия

После долголетних размышлений я приступаю к своим воспоминаниям о моей советской службе. И, начиная их, я считаю необходимым предпослать им несколько общих строк, чтобы читателю стало понятно дальнейшее.

Все то, что мне пришлось испытать и видеть в течение периода моей советской деятельности, мучило и угнетало меня все время прохождения ее и привело в конце концов к решению, что я не могу больше продолжать этот ужас, и 1-го августа 1923 года я подал в отставку. Но первое время я был далек от мысли выступать со своими воспоминаниями, — хотелось только уйти, не быть с «ними», забыть все это, как тяжелый кошмар...

По мере того, как время все более и более отодвигало меня от того момента, когда я, весь разбитый и физически, и нравственно всем пережитым мною, ушел из этого ада, ушел, со все растущим во мне разочарованием, отложившимся в конечном счете в яркое сознание, что я сделал роковую ошибку, войдя в ряды советских деятелей, тем сильнее и императивнее стало говорить во мне сознание того, что я обязан и перед своею совестью, и, что главное, и перед моей родиной описать все испытанное мною, все те порядки и идеи, которые царили и продолжают царить в советской системе, угнетающей все живое в России...

Из дальнейшего читатель, надеюсь, поймет, что, уйдя с советской службы, я, конечно, не мог не унести с собой чувства глубокой обиды, глубокого оскорбления моего простого человеческого достоинства... Скажу правду — первое время после отставки я был не чужд известного рода личного озлобления, и потребовались годы, долгие годы тяжелой внутренней работы, пересмотра всего пережитого, своих взглядов и выработки новых... Необходимо было время, чтобы пережитые события и все лично перенесенное и выстраданное отошли, так сказать, на расстояние известного «исторического выстрела», чтобы я мог подойти к ним с большей или меньшей объективностью (насколько это, разумеется, возможно для отдельного индиви-

дуума), нужно было по возможности задавить в себе все мелкое, личное... Нужно было выработать в себе способность отнестись к событиям исторически.

В результате всего этого индивидуально сложного, но лишь вскользь намеченного мною, процесса я пришел к окончательному решению, что я не имею права молчать. И лишь сознание моего гражданского долга руководит мною в этом решении, и я искренно буду стремиться говорить обо всем только голую правду.

Считаю нелишним заметить, что я был все время на весьма ответственных постах, а именно: сперва первым секретарем Берлинского посольства (во времена Иоффе¹), затем консулом в Гамбурге (и одновременно в Штеттине и Любеке), затем Заместителем Народного Комиссара Внешней Торговли в Москве, далее Полномочным представителем народного комиссариата внешней торговли в Ревеле (где я сменил Гуковского) и, наконец, директором «Аркоса» в Лондоне.

С последнего поста, как я упомянул выше, я ушел 1-го августа 1923 года.

Таким образом, я много видел.

Я знал многих известных деятелей большевизма со времен еще подпольных. И, само собою разумеется, вспоминая о тех или иных событиях, я не могу не говорить и об этих деятелях. А потому в этих воспоминаниях в последовательной связи выступают Ленин, Красин, Иоффе, Литвинов, Чичерин, Воровский, Луначарский, Шлихтер, Крестинский, Карахан, Зиновьев, Коллонтай, Копп, Радек, Елизаров, Клышко, Берзин, Квятковский, Половцева, Крысин и др.

Я опишу в последовательной связи, как и почему я вместе с моим покойным другом (с юных лет) Красиным решили пойти на советскую службу при всем нашем критическом отношении к ней и почему я в конце концов расстался с ней.

Введение

...Я принимал довольно деятельное участие в февральской революции 1917 года. В мае того же года я по личным делам уехал в Стокгольм, где обстоятельства задержали меня надолго. В начале ноября 1917 года произошел большевистский переворот. Я не был

ни участником, ни свидетелем его, все еще находясь в Стокгольме. Там я сравнительно часто встречался с Воровским, который был в Стокгольме директором отделения русского акционерного общества «Сименс и Шуккерт», во главе которого в Петербурге стоял покойный Л. Б. Красин. В то время Воровский очень ухаживал за мной, частенько эксплуатируя мою дружбу с Красиным и мое некоторое влияние на него для устройства разных своих личных служебных делишек...

В первые же дни после большевистского переворота Воровский, встретясь со мной, сообщил мне с глубокой иронией, что я могу его поздравить, он, дескать, назначен «советским посланником в Швеции». Он не верил, по его словам, ни в прочность этого захвата большевиками власти, ни в способность большевиков сделать что-нибудь путное и считал все это дело нелепой авантюрой, на которой большевики «обломают свои зубы». Он всячески вышучивал свое назначение и в доказательство несерьезности его обратил мое внимание на то, что большевики, сделав его посланником, не подумали о том, чтобы дать ему денег.

— Ну, знаете ли, — сказал он, — это просто водевиль, и я не хочу быть опереточным посланником опереточного правительства!..

И он продолжал оставаться на службе у «Сименс и Шуккерт», выдавая в то же время визы на въезд в Россию. Через некоторое время он опять встретился со мной и со злой иронией стал уверять меня, что большевистская авантюра, в сущности, уже кончилась, как этого и следовало ожидать, ибо «где же Ленину, этому беспочвенному фантазеру, сделать что-нибудь положительное... разрушить он может, это легко, но творить — это ему не дано...» Те же разговоры он вел и с представителями посольства Временного правительства (Керенского)... Но я оставляю Воровского с тем, что еще вернусь к нему, так как он является интересным и, пожалуй, типичным представителем обычных советских деятелей, ни во что, в сущности, не верующих, надо всем издевающихся и преследующих, за немногими исключениями, лишь маленькие личные цели карьеры и обогащения.

Слухи из России приходили путанные и темные, почему я в начале декабря решил лично повидать все, что там творится. И, взяв у Воровского визу, поехал в Петербург. Случайно с тем же поездом в Петербург же ехал директор стокгольмского банка Ашберг, который, стремясь ковать железо, пока горячо, вез с собой целый

проект организации кооперативного банка в России. Он познакомил меня дорогой с этим проектом. Идея казалась мне весьма целесообразной для данного момента, о котором я мог судить лишь по газетным сведениям.

Мы прибыли в Петербург около двух часов ночи. Улицы были пустынные, кое-где скупо освещены. Редкие прохожие робко жалась к стенам домов.

Извозчик, везший меня, на мои вопросы отвечал неохотно и как-то пугливо.

— Да, конечно, — вяло сказал он в ответ на мой вопрос, — обещают новые правители сейчас же созвать Учредительное собрание...² Ну а в народе идет молва, что это так только нарочно говорят, чтобы перетянуть народ на свою сторону.

Наутро я поехал повидать Красина в его бюро.

— Зачем нелегкая принесла тебя сюда? — Таким вопросом вместо дружеского приветствия встретил он мое появление в его кабинете...

И много грустного и тяжелого узнал я от него.

— Ты спрашиваешь, что это такое? Это, милый мой, ставка на немедленный социализм, то есть утопия, доведенная до геркулесовых столбов глупости! Нет, ты подумай только, они все с ума сошли с Лениным вместе! Забыто все, что проповедывали социал-демократы, забыты законы естественной эволюции, забыты все наши нападки и предостережения от попыток творить социалистические эксперименты в современных условиях, наши указания об опасности их для народа, все, все забыто!

Людьми овладело форменное безумие: ломают все, все реквизируют, а товары гниют, промышленность останавливается, на заводах царят комитеты из невежественных рабочих, которые, ничего не понимая, решают все технические, экономические и чёрт знает какие вопросы! На моих заводах тоже комитеты из рабочих. И вот, изволишь ли видеть, они не разрешают пускать в ход некоторые машины... «Не надо, ладно и без них!» ... А Ленин... да, впрочем, ты увидишь его: он стал совсем невменяем, это один сплошной бред! И это ставка не только на социализм в России, нет, но и на мировую революцию под тем же углом социализма! Ну, остальные, которые около него, ходят перед ним на задних лапках, слова поперек не смеют сказать, и, в сущности, мы дожили до самого форменного самодержавия...

После Красина я поехал к одному моему старому другу и товарищу, тоже, если так можно выразиться, «классическому» * большевику, который не принял «нео-большевизма», или «ленинизма», и, верный своим взглядам, не пошел на службу к большевикам, почему я и не назову его по имени, обозначив его лишь буквой Х. Он встретил меня печально и подтвердил слова Красина, и будучи хорошим теоретиком, значительно шире развил те же положения. Как революционер Х. был горячий и безумно смелый. Мы с ним вместе работали в революции 1905 года, вместе были на баррикадах и пр. И вот он-то, такой увлекающийся и в то же время такой сильный теоретик большевизма, но остававшийся все время на почве строгого учения Маркса, чуждого всякого авантюризма и базирующего на естественной эволюции, подверг ожесточенной и уничтожающей критике «ленинизм».

— ...Я не пророк, — сказал он, — но у меня нет ни малейшего сомнения в том, что они обратят несчастную Россию в страну нищих с царящим в ней иностранным капиталом...

Следующее мое свидание было с Лениным и другими моими старыми товарищами (как Елизаров, Луначарский, Шлихтер и др.) в Смольном институте, месте, где тогда происходили заседания Совета Народных Комиссаров.

Беседа с Лениным произвела на меня самое удручающее впечатление. Это был сплошной максималистский бред.

— Скажите мне, Владимир Ильич, как старому товарищу, — сказал я, — что тут делается? Неужели это ставка на социализм, на остров «Утопия», только в колоссальном размере? Я ничего не понимаю...

— Никакого острова Утопии здесь нет, — резко ответил он тоном очень властным. — Дело идет о создании социалистического государства... Отныне Россия будет первым государством с осуществленным в ней социалистическим строем... А!.. вы пожимаете плечами! Ну, так вот, удивляйтесь еще больше! Дело не в России, на нее, господа хорошие, мне наплевать, — это только этап, через который мы проходим к мировой революции!..

* Я употребляю этот термин в отношении тех, кто принял большевизм после раскола на лондонском съезде в 1902 году, когда сформировалась большевицкая фракция социал-демократической партии и когда, в сущности, большевизм отличался от меньшевизма лишь в отношении тактики. К этому течению тогда же примкнули и Красин, и я.

Я невольно улыбнулся. Он скосил на меня свои маленькие узкие глаза монгольского типа с горевшим в них злым ироническим огоньком и сказал:

— А вы улыбаетесь! Дескать, все это бесплодные фантазии. Я знаю, что вы можете сказать, знаю весь арсенал тех трафаретных, избитых, якобы марксистских, а в сущности буржуазно-меньшевистских ненужностей, от которых вы не в силах отойти даже на расстояние куриного носа... Впрочем, — прервал он вдруг самого себя, — мне товарищ Воровский писал о ваших беседах с ним в Стокгольме, о том, что вы назвали все это фантазиями и пр. (Напомню читателю, что именно Воровский говорил мне в Стокгольме.)

— Нет, нет, мы уже прошли мимо всего этого, все это осталось позади... Это чисто марксистское миндальничанье! Мы отбросили все это, как неизбежные детские болезни, которые переживает и общество, и класс, и с которыми они расстаются, видя на горизонте новую зарю... И не думайте мне возражать! — вскрикнул он, замахав на меня руками. — Это ни к чему! Меня, вам и Красину с его постепенством или, что то же самое, с его «естественной эволюцией», господа хорошие, не переубедить! Мы забираем и заберем как можно левее!..

Улучив минуту, когда он на миг смолк, точно захлебнувшись своими собственными словами, я поспешил возразить ему:

— Все это очень хорошо. Допустим, что вы дойдете до самого, что называется, левейшего угла... Но вы забываете закон реакции, этот чисто механически закон... Ведь вы откатитесь по этому закону, чёрт его знает куда!..

— И прекрасно! — воскликнул он. — Прекрасно, пусть так, но в таком случае это говорит за то, что надо еще левее забирать! Это вода на мою же мельницу!..

Среди этой беседы я упомянул о предстоявшем созыве Учредительного собрания. Он хитро прищурил свои маленькие глазки, лукаво посмотрел на меня и как-то задорно свистнул:

— Ну, знаете, это тема такая, что я сейчас не хочу еще говорить о ней... Скажу только, что «учредилка» — это тоже старая сказка, с которой вы зря носитесь. Мы, в сущности, прошли уже мимо этого этапа... Ну, да впрочем, посмотрим... Мы обещали... а там посмотрим... посмотрим... Во всяком случае никакие «учредилки» не вышибут нас с нашей позиции. Нет!..

Беседа наша затянулась. Я не буду воспроизводить ее целиком, а только даю легкий абрис ее.

— Так вот, — закончил Ленин, идите к нам и с нами, и вы, и Никитич *. И не нам, старым революционерам, бояться и этого эксперимента, и закона реакции. Мы будем бороться также и с ним, с этим законом!.. — И мы победим! Мы всколыхнем весь мир... За нами пролетариат!.. — закончил он, как на митинге.

Мы расстались. Затем тут же я повидался со старыми товарищами — Луначарским, Елизаровым (мужем сестры Ленина), Шлихтером, Коллонтай, Бонч-Бруевичем³ и др. Из разговоров со всеми ими, за исключением Елизарова, я убедился, что все они, искренно или неискренно, прочно стали на платформу «социалистической России» как базы и средства для создания «мировой социалистической революции». И все они боялись слово пикнуть перед Лениным.

Один только мой старый друг, Марк Тимофеевич Елизаров, стоял особняком.

— Что, небось, Володя (Ленин) загонял вас своей мировой революцией? — сказал он мне. — Чёрт знает что такое!.. Ведь умный человек, а такую чушь порет!.. Чертям тошно!

— А вы что тут делаете, Марк Тимофеевич? — спросил я, зная, что он человек очень рассудительный, не склонный к утопиям.

— Да вот, — как-то сконфуженно ответил он, — Володя и Аня (его жена, сестра Ленина) уговорили меня... попросту заставили... Я у них министром путей сообщения, то есть Народным Комиссаром Путей Сообщения, — поправился он... Не думайте, что я своей охотой залез туда: заставили... Ну, да это ненадолго, уйду я от них. У меня свое дело, страховое, тут я готов работать... А весь этот Совнарком с его бреднями о мировой социалистической революции... да ну его к бесу!.. — и он сердито отмахнулся.

Я говорил с ним о проекте Ашберга, изложив ему сущность его в общих чертах.

— Конечно, — сказал он, — сама по себе идея очень хороша, слов нет. Но разве наши поймут это! Ведь теперь ставка на национализацию всего. Скажут, что нам не нужны никакие банки, что все они должны быть национализированы... Впрочем, я попытаюсь поговорить с Володей, хотя и не надеюсь на успех... Право, они все

* Партийная кличка Красина.

вместе с Володей просто с ума сошли *. Спорить с ним бесполезно — он сразу обрывает всякие возражения шумом оскорбительных выпадов... Право, мне иногда кажется, между нами говоря, что он не совсем нормален... Ведь как умный человек он не может и сам не чувствовать всю неустойчивость обоснования всех своих идей... но вот именно потому-то он и отругивается... Словом, творится ахинея в сто процентов... Ну да, впрочем, всякому ясно, что вся эта затея осуждена на полное фиаско, и я лично жду провала со дня на день...

В тот же день Елизаров переговорил с Лениным. Долго его убеждал, но тщетно. Выйдя из кабинета Ленина, он сказал мне, безнадежно махнув рукой:

— Ну, конечно, как я и предвидел, Володя и прочие ничего не поняли. «Какой такой кооперативный банк!

Зачем пускать капиталистов, этих акул, этих грабителей пролетариата!» и пр., и пр. в таком же бредовом духе. «Нам не нужны частные кооперативы, мы сами, мол, кооперация»... Попытался я урезонить Володю. Но он только посмехался над вашим проектом... «Знаю, говорит, знаю, конечно, Соломон не может не лелеять разные буржуазные проекты, как и его друг Никитич, падкий до спекуляций... Пошли их обоих к чёрту — они два сапога пара»... Мне удалось только заручиться его обещанием еще подумать, и завтра Менжинский передаст вам и Ашбергу окончательный ответ...

Тут же я встретился и с Менжинским, моим старым и близким товарищем, который был заместителем народного комиссара финансов, ибо настоящего почему-то не было назначено. Поговорил с ним. Он как-то вяло и точно неохотно подавал реплики и был чем-то удручен. Мы сговорились с ними, что на завтра в час дня он примет нас с Ашбергом и даст ответ. Но и он сказал, что не сомневается, что ответ будет отрицательный.

— Что делать, — пожал он плечами, — ведь у нас ставка на социализм...

Повидавшись еще кое с кем из старых товарищей, я вышел из Смольного института. Меня снова охватила мрачная, пришибленная улица, робко жмущаяся, настороженная... Все или почти все

* Отмечу, что некогда я был очень близок с семьей Ленина и в частности с покойным М. Т. Елизаровым, мужем Анны Ильинишны Ульяновой, с которым я находился в дружественных отношениях, потому то он и говорил со мной так откровенно.

магазины были реквизированы. Поражало то, что они были полны товаров, в которых так нуждалось население. Товары, аккуратно сложенные на полках, были видны через окна. Стояли часовые... Жители же должны были покупать провизию главным образом из-под полы... Поражала эта нелепость... Впрочем, мне как-то объяснил ее один рабочий, партийный человек, находившийся на ответственном посту:

— А, — сказал он на мой недоуменный вопрос, — вы говорите, товары лежат в лавках... Ну, что же, дело в том, что очень много хлопот у нас. Вот реквизируют товары, ну, а потом забудут о них... они и портятся... Ничего не поделаешь... лес рубят, щепки летят...

К вечеру во многих местах зажигались костры, у которых с шутками и смехом, а по временам и с ворчаньем и руганью, грелись и топтались солдаты, матросы и вооруженные рабочие. Озираясь и обходя, как можно дальше, эти костры, брели какие-то смутные, при отсутствии освещения, фигуры... Откуда-то, со стороны предместий, все время доносились глухие, то одиночные, то небольшими залпами, выстрелы... какой-то гул, отдаленные крики, виднелось по временам зарево... Это рабочие, солдаты и матросы громили, а подчас и поджигали винные склады и погреба, разбивали бочки, бутылки, напивались, лили вино на землю... Их отражали оружием, происходили целые стычки...

На другой день мы с Ашбергом были у Менжинского в доме министерства финансов. Роскошное здание было пусто. Как известно, все чиновники всех учреждений, в виде протеста против большевиков, саботировали. Громадные комнаты стояли запущенные, пустые. Молодцеватые курьеры, не примкнувшие к саботажникам, бродили, как осенние мухи. Чувствовалось, что живой дух отлетел из учреждения.

Менжинский принял нас в роскошном министерском кабинете. Казалось, что в нем еще витал дух Витте⁴.

Разговор с Ашбергом был очень краток. Менжинский сказал ему, что беседовал с Совнаркомом по поводу его проекта, который был найден очень интересным. Но сейчас новое правительство занято более серьезными вопросами самоконструирования и поэтому ему некогда заняться этим, сравнительно второстепенным, вопросом.

Когда Ашберг ушел и мы остались вдвоем, Менжинский сообщил мне, что Ленин очень недружелюбно относится ко мне, что

Воровский прислал ему с курьером письмо, в котором аттестует меня как человека, не принимающего советского строя, подвергающего его резкой и озлобленной критике, высмеивающего и вышучивающего его. Он предостерегал Ленина от меня как от спекулянта и высказывал подозрение, что я не чужд больших симпатий к немцам.

— Впрочем, это, конечно, неважно, — добавил Менжинский. — Но, вообще говоря, вам следует очень остерегаться Воровского: он питает к вам мелкую и какую-то неутолимую злобу... Ну, да об этом когда-нибудь в другой раз... А теперь я хотел бы сделать вам одно предложение. Ведь вы несколько лет служили в крупном банке. Вы видите, что сейчас, благодаря саботажу, во всех учреждениях никто не работает. В частности, у нас нет директора государственного банка. Вот я вчера, несмотря на то, что Ленин под влиянием письма Воровского очень недружелюбно настроен к вам, заговорил с ним о том, как бы он отнесся к назначению вас на этот пост? Он, конечно, сперва поворчал, наговорил несколько кислых слов по поводу вас, а потом сказал, что ничего не имеет против этого, так как уверен, что вы с этим делом справитесь... Так вот, не согласитесь ли вы занять это место?

Все то, что мне пришлось увидеть за эти два-три дня в Петербурге, так меня, в сущности, ошеломило, что перспектива взять на себя такую ответственную, а при царившей в самом новом правительстве неразберихе и сумятице прямо рискованную роль, требующую большого опыта, которого у меня не было, повергло меня в глубокое смущение... Я ответил отказом...

Я передал Красину об этом предложении и моем отказе...

— И хорошо сделал, — сказал он. — Ведь на тебя стали бы вешать всех собак. Да где тебе с ними сговориться! Тут, брат, одна нелепость. И мне кажется, что тебе самое лучшее возвратиться в Швецию и не связываться с здешними правителями...

— Да я и сам так думаю. Право, за эти два — три дня я чувствую себя совсем разбитым... Я просто ничего не понимаю... точно в сумасшедший дом попал... и хочется только бежать отсюда, и как можно скорее...

— Да вот и уезжай в Швецию. Я тоже подумываю махнуть туда же, побыть со своими (его семья находилась в Стокгольме). Конечно, ты и сам видишь, что здесь каши не сваришь. И я думаю, что скоро и весь «Сименс и Шуккерт» будет реквизирован, и мне нечего тут делать. Вот я и поеду в Стокгольм, и там будем с тобой

разбираться во всем этом. Ведь, право же, эта чепуха не может долго тянуться. Они побезобразят еще, наделают еще глупостей, а там опять все удерут за границу, решив, что чего-то не додумали, чего-то не дочитали, и снова примутся за старика Маркса в поисках новых выводов...

Но тут же ему в голову пришла одна идея.

— Ты знаешь, эти грабежи винных складов принимают какой-то катастрофически характер, и меня несколько не удивит, если все это в конце концов отольется в пугачевщину. Вот я и подумал, а что если бы ты занялся в Швеции и вообще за границей сбытом наших винных запасов. Ведь у нас в России эти погреба и склады представляют собою колоссальное состояние... тонкие, драгоценные вина, которые хранятся чуть ли не сотни лет.

А у нас пьяные солдаты и рабочие бьют, ломают, выливают драгоценное вино на улицу, просто сжигают погреба. Посылают солдат на усмирение грабителей, но они присоединяются к ним и вместе уничтожают все.

Переговорив об этом, мы решили предложить Ленину такой проект. Красин и я возьмемся за это дело — я в Швеции, а он в Петербурге. Мы немедленно же разработали целый план и в тот же день отправились в Смольный институт к Ленину.

Разгром и пальба все усиливались. Ничто не помогало: ни войска, ни специальные агитаторы для вразумления народа. Вот тут-то мы и увидали, как легко советские деятели впадают в панику. В Смольном все были растеряны, и даже сам Ленин. За много лет нашего знакомства я никогда не видал его таким. Он был бледен, и нервная судорога подергивала его лицо.

— Эти мерзавцы, — сразу же заговорил он, — утопят в вине всю революцию! Мы уже дали распоряжение расстреливать грабителей на месте. Но нас плохо слушаются... Вот они, русские бунты!..

Тут мы изложили ему наш проект. Он очень обрадовался такому, как ему казалось, прекрасному выходу. И сразу же решил принять новые драконовские меры против грабежей. В конце концов наш проект был принят, и после долгих переговоров было решено, что я через два-три дня уезжаю в Швецию, займусь там лансированием этого дела и буду ждать товары и устраивать их. Мы собрались уходить, когда Ленин, встав с кресла, обратился к Красину:

— Да, кстати, Леонид Борисович, мне нужно с вами поговорить по одному делу...

Тогда я, простившись с Лениным, оставил его с Красиным и вышел из кабинета. Минут через пять меня нагнал Красин. Вид у него был мрачный и сердитый — я никогда раньше не видал его таким. Садясь в автомобиль, он с сердцем выругался. Я не спрашивал его, но он сам заговорил:

— Знаешь, зачем он меня задержал... Нет, ты подумай только, какая мерзость! Буквально, он спросил меня: «Скажите, Леонид Борисович, вы не думаете, что Соломон немецкий шпион». Я, знаешь, так и ахнул, а потом засмеялся и говорю ему: «Ну, это, знаете ли, уж с больной головы на здоровую... вроде истории с запломбированным вагоном...» (Как известно, существует предположение, что Ленин, проехавший через Германию в запломбированном вагоне, был нарочито послан немцами в Россию в качестве их агента и даже получил за это крупные деньги. На это и намекнул Красин в своем ответе.) «Да нет, — говорит он, — это только вопрос... видите ли, есть письмо от Воровского, который много места отводит Георгию Александровичу... конечно, это между нами... говорит, что он спекулянт и пр., и пр. и что он всегда в разговорах проявляет симпатию к немцам... Сказано это у него довольно коряво, в такой комбинации, что можно подозревать всячину... Но не говорите об этом Соломону...» Нет, ты подумай, каков Воровский... вот мерзость!.. Это он теперь сводит свои старые счета с тобой за... Ну, да впрочем, чёрт с ним»...

В течение моего пребывания в Петербурге новые правители неоднократно возвращались к вопросу о назначении меня на разные посты. Но то, что мне пришлось видеть и слышать, мало располагало меня к тому, чтобы согласиться на какие бы то ни было предложения. Во всем чувствовалась такая несерьезность, все так напоминало эмигрантские кружки с их дрызгами, так было далеко от широкого государственного отношения к делу, так много было личных счетов, сплетен и пр., столько было каждения перед Лениным, что у меня не было ни малейшей охоты приобщиться к этому правительству новой формации, которое, по-видимому, и само в то время не признавало себя правительством, а просто какими-то захватчиками, калифами на час...

И это было не только мое личное впечатление, — того же взгляда держались в то время и многие другие, как Красин, и даже близкий Ленину по семейным связям, Елизаров, который сокрушенно говорил мне: — Посмотрите на них: разве это правительство?...

Это просто случайные налетчики, захватили Россию и сами не знают, что с ней делать... Вот теперь — ломать, так уж ломать все! И Володя теперь лелеет мечту свести на нет и Учредительное собрание! Он, не обинуясь, называет эту заветную мечту всех революционеров просто «благоглупостью», от которой мы, дескать, ушли далеко... И вот, помяните мое слово, они так или иначе, а покончат с этой идеей, и, таким образом, тот голос народа, о котором мы все с детства мечтали, так никогда и не будет услышан... И что будет с Россией, сам черт не разберет!.. Нет, я уйду от них, ну их к бесу!..

Тут он сообщил мне, что, как он слышал от Ленина, похоронить Учредительное собрание должен будет некто Урицкий⁵, которого я совершенно не знал, но с которым мне вскоре пришлось познакомиться при весьма противных для меня обстоятельствах...

Итак, я решил возвратиться в Стокгольм и, с благословения Ленина, начать там организовывать торговлю нашими винными запасами. Мне пришлось еще раза три беседовать на эту тему с Лениным. Все было условлено, налажено, и я распростился с ним.

Нужно было получить заграничный паспорт. Меня направили к заведывавшему тогда этим делом Урицкому. (Урицкий был первый организатор ЧК-и.) Я просил Бонч-Бруевича, который был управделом Совнаркома, указать мне, где я могу увидеть Урицкого. Бонч-Бруевич был в курсе наших переговоров об организации вывоза вина в Швецию.

— Так что же, вы уезжаете таки? — спросил он меня. — Жаль... Ну, да надеюсь, это не надолго...

Право, напрасно вы отклоняете все предложения, которые вам делают у нас... А Урицкий как раз находится здесь...

Он оглянулся по сторонам.

— Да вот он, видите, там разговаривает со Шлихтером...⁶ Пойдемте к нему, я ему скажу, что и как, чтобы выдали паспорт без волынки...

Мы подошли к невысокого роста человеку с маленькими неприятными глазками.

— Товарищ Урицкий, — обратился к нему Бонч-Бруевич, — позвольте вас познакомить... товарищ Соломон...

Урицкий оглядел меня недружелюбным колючим взглядом.

— А, товарищ Соломон... Я уже имею понятие о нем, — небрежно обратился он к Бонч-Бруевичу, — имею понятие... Вы прибыли

из Стокгольма? — спросил он, повернувшись ко мне. — Не так ли?... Я все знаю...

Бонч-Бруевич изложил ему, в чем дело, упомянул о вине, решении Ленина... Урицкий нетерпеливо слушал его, все время враждебно поглядывая на меня.

— Так, так, — поддакивал он Бонч-Бруевичу, — так, так... понимаю... — И вдруг, резко повернувшись ко мне, в упор бросил: — Знаю я все эти штуки... знаю... и я вам не дам разрешения на выезд за границу... не дам! — как-то взвизгнул он.

— То есть как это вы не дадите мне разрешения? — в сильном изумлении спросил я.

— Так и не дам! — повторил он крикливо. — Я вас слишком хорошо знаю, и мы вас из России не выпустим!..

И между нами началось резкое объяснение. Вмешался Бонч-Бруевич. Он взял Урицкого под руку и, отведя его в сторону, бросил мне:

— Простите, Георгий Александрович, сейчас все будет улажено... тут недоразумение... мы поговорим с товарищем Урицким... одну минуту...

И он продолжал тащить Урицкого в сторону.

— Никакого недоразумения нет! — кричал Урицкий, несколько упираясь. — Никакого недоразумения... Я все хорошо знаю... товарищ Воровской писал...

Бонч-Бруевич увлек его, почти потащил в дальний угол и стал с жаром о чем-то ему говорить. Я стоял в полном недоумении... А Бонч-Бруевич продолжал в чем-то убеждать Урицкого, и оба сильно жестикулировали...

Беседа их тянулась долго. Вдруг я почувствовал, как кровь прилила мне к лицу, и с плохо сдерживаемым гневом я подошел к ним:

— Так как разговор идет, очевидно, обо мне, то я просил бы вас говорить при мне, а не за моей спиной... В чем дело, товарищ Урицкий? Почему вы не хотите дать мне разрешение?

— Вы не уедете из России — визгливо вскрикнул Урицкий. — Напрасно товарищ Бонч-Бруевич убеждает меня...

И он, вдруг оторвавшись от Бонч-Бруевича, отбежал куда-то в сторону, повторив мне еще раз: «Не уедете, не уедете». Во всем этом было столько непонятого мне озлобления и какой-то дикой решимости, что я в полном недоумении спросил Бонч-Бруевича:

— Что с ним, Владимир Иванович?... В чем вообще дело?... Откуда это озлобление?... При чем тут Воровский?... Я ничего не понимаю...

— Ах, глупости все...

И он конфиденциально сообщил мне, что Воровский дал обо мне в личном письме к Урицкому очень неблагоприятную для меня характеристику...

— Так пусть он мне это скажет в глаза! — закричал я и, бросившись к Урицкому, резко сказал: — Извольте сейчас же объяснить мне, на каком основании вы не желаете выдать мне разрешение на выезд? Сейчас же! Я требую... понимаете?!..

Он ответил мне, многозначительно подчеркивая слова:

— У меня имеются сведения, что вы действуете в интересах немцев...

Тут произошла безобразная сцена. Я вышел из себя. Стал кричать на него. Ко мне бросились А. М. Коллонтай, Елизаров и др. и стали меня успокаивать. Другие в чем-то убеждали Урицкого... Словом, произошел форменный скандал.

Я кричал:

— Позовите мне сию же минуту сюда Ильича... Ильича...

Укажу на то, что вся эта сцена разыгралась в большом зале Смольного института, находившемся перед помещением, где происходили заседания Совнаркома и где находился кабинет Ленина.

Около меня метались разные товарищи, старались успокоить меня... Бонч-Бруевич побежал к Ленину, все ему рассказал. Вышел Ленин. Он подошел ко мне и стал спрашивать, в чем дело?

Путаясь и сбиваясь, я ему рассказал. Он подозвал Урицкого.

— Вот что, товарищ Урицкий, — сказал он, — если вы имеете какие-нибудь данные подозревать товарища Соломона, но серьезные данные, а не взгляд и нечто, так изложите ваши основания. А так, ни с того ни с сего, заводить всю эту истерику не годится... Изложите, мы рассмотрим в Совнаркоме... Ну-с...

— Я базируюсь, — начал Урицкий, — на вполне определенном мнении нашего уважаемого товарища Воровского...

— А, что там «базируюсь», — резко прервал его Ленин. — Какие такие мнения «уважаемых» товарищей и пр.? Нужны объективные факты. А так, ни с того ни с сего, здорово живешь, опорочивать старого и тоже уважаемого товарища, это не дело... Вы его не знаете, товарища Соломона, а мы все давно его знаем...

Ну, да мне некогда, сейчас заседание Совнаркома. — И Ленин торопливо убежал к себе.

Урицкий присел за стол и стал что-то писать. Бонч-Бруевич вертелся около него и что-то с жаром ему доказывал. Ко мне подошел с успокоительными словами Елизаров:

— Право, не волнуйтесь, Георгий Александрович. Вот уж не стоит... У Урицкого, видите ли, теперь просто мания... старается что-то уловить и тычется носом зря... все ищет корней и нитей.

— Да нет, Марк Тимофеевич, — сказал я, — мне все это противно... Какие-то нелепые подозрения, намеки... И я буду требовать расследования, чтобы выяснить эту атмосферу каких-то недомолвок и пр...

Урицкий между тем кончил писать и передал написанное Бонч-Бруевичу, который, пожимая плечами, прочитал написанное и опять стал что-то доказывать Урицкому, горячо ему оппонировавшему. Наконец Бонч-Бруевич махнул рукой и понес бумагу в помещение Совнаркома.

Началось заседание Совнаркома. Урицкий взволнованно бегал по зале, подходя то к одному, то к другому и о чем-то с жаром говорил, усиленно жестикулируя и поглядывая на меня. Прошло несколько времени, и из залы заседания вышел Елизаров вместе с каким-то высоким седым человеком. Они направились ко мне.

— Ну, вот, Георгий Александрович, Совнарком рассмотрел заявление товарища Урицкого и нашел его неосновательным и постановил не заниматься этим делом... Но если вы хотите и настаиваете, то вот товарищу Стучко⁷, — он указал на своего спутника, — с которым прошу познакомиться, поручено вас выслушать.

Заговорил Стучко. Он предложил изложить сущность дела. Я ему сказал, что дело очень простое: мне отказывают по каким-то неизвестным мне подозрениям в разрешении на выезд за границу... И Стучко и Елизаров потолковали еще со мной и ушли на заседание, сказав, что доложат Совнаркому. Прошло довольно много времени, прежде чем они вышли снова.

— Вот, Георгий Александрович, — обратился ко мне Елизаров, — товарищ Стучко сделал свой доклад по делу Урицкого. И Совнарком решил, что товарищ Урицкий не имеет никаких оснований не выдавать вам разрешения на выезд и должен вам выдать заграничный паспорт... И вообще, плюньте на это дело... все это обычные кружковые дразги!..

И тут же, подозвав Урицкого, он передал ему решение Совнаркома. Дело было кончено. Но необходимо отметить, что тут началась настоящая обывательщина: Урицкий заявил мне, что я должен подать обычное прошение и не здесь, а на Гороховой, в помещении градоначальника, в общем порядке. И три дня меня еще манежили. Урицкий вымещал на мне, заставляя меня стоять в очередях и ездить то на Гороховую, то в Смольный, требуя каких-то справок и пр. Но наконец паспорт был у меня в руках, и, наскоро собравшись, я снова двинулся в Стокгольм через Финляндию на Торнео и Хапаранта...

Я посвятил сравнительно много места описанию моего столкновения с Урицким. И сделал я это не для того, чтобы повествовать о моих злоключениях, а лишь потому, что как-никак, а ведь Урицкий был историческим лицом, независимо от величины, и мне кажется полезным показать этого героя, ликвидировавшего Учредительное собрание, в другой сфере его деятельности!..

Скажу правду, что только в Торнео, сидя в санях, чтобы ехать в Швецию на станцию Хапаранта (рельсового соединения тогда еще не было), я несколько пришел в себя, ибо пока я был в пределах Финляндии, находившейся еще в руках большевиков, я все время боялся, что вот-вот по телеграфу меня остановят и вернут обратно. И, сидя уже в шведском вагоне и перебирая мои советские впечатления, я чувствовал себя так, точно я пробыл в Петербурге не три недели, как оно было на самом деле, а долгие, кошмарно долгие годы. И трудно мне было сразу разобраться в моих впечатлениях, и первое время я не мог иначе формулировать их, как словами: первобытный хаос, тяжелый, душу изматывающий сон, от которого хочется и не можешь проснуться. И лишь много спустя, уже в Стокгольме, я смог дать себе самому ясный отчет в пережитом в Петербурге...

Отдохнув с дороги, я через два дня явился к Воровскому, чтобы сообщить о принятом решении продавать в Швеции при моем посредничестве запасы наших вин. Он, по-видимому, был очень неприятно удивлен, увидя, что я вернулся жив и здоров, но сперва хотел было встретить меня по-прежнему, как доброго знакомого.

— А, вот и вы! — начал он. — Хорошо ли съездили?... Что там новенького?...

— Как видите, — сухо ответил я, — несмотря ни на что, я таки вернулся. И вот, в чем дело...

Тут я изложил ему выработанный нами проект вывоза старых вин. Ему это сообщение не понравилось, и он, не скрывая уже своей неприязни ко мне, сказал:

— Все это очень хорошо, но почему это дело возлагается на вас и на Красина? Ведь в Стокгольме, насколько мне известно, я являюсь официальным представителем РСФСР... Казалось бы естественным возложить это дело на меня... или вообще поручить мне организовать его... Ну, да впрочем, раз такова воля начальства, я должен повиноваться...

— Да нет, — ответил я, — пожалуйста, берите его на себя. Я вам передал только по указанию Ленина об этом решении и проект. Но у меня нет ни малейшего желания нарушать ваши прерогативы...

Я, признаться, был рад, что дело этим кончилось, так как не сомневался, что если бы я принялся за него, то Воровский употребил бы все меры, чтобы мешать мне, пошли бы дразги... Когда этот вопрос был у нас письменно оформлен и я собирался уже уходить, Воровский вдруг спросил меня снова дружески-интимным тоном:

— Ну, Георгий Александрович, скажите мне теперь по-товарищески... что?... Очень плохи дела в Петербурге?... Скоро конец?...

— О, нет, все идет великолепно, — сухо ответил я и, оборвав этим наше свидание, ушел.

Само собою, я написал Красину о моем разговоре с Воровским и о том, что я отказываюсь от этого дела, и просил его передать об этом Ленину. Месяца через два я получил от Красина письмо, в котором он, между прочим, сообщал, что собирается в Стокгольм.

К этому времени положение Воровского как посланника значительно окрепло. Он снял помещение для своего посольства, расстался с «Сименс и Шуккерт» и назначил себе в помощь в качестве торгового агента некоего Циммермана, мужа сестры своей жены, которому были приданы и консульские функции. Я знал несколько этого Циммермана. Это был неудавшийся кинематографический артист, человек без всякого образования с резко выраженными черносотенными симпатиями, очень безалаберный, не имевший ни малейшего представления о торговых делах. С Воровским я почти не видался, лишь изредка встречая его у жены Красина, причем мы с ним никогда не разговаривали. Но так или иначе, до меня доходили слухи о деятельности представительства.

Отмечу вкратце, что в то время Стокгольм, как столица нейтрального государства, представлял собою весьма оживленный торговый центр, наполненный всякого рода дельцами-спекулянтами, торговавшими всем, чем угодно, и составлявшими себе громадные капиталы. Естественно, что, когда на рынок выступила и РСФСР, вся эта армия дельцов устремилась в советское посольство и, пользуясь случаем, стала сбывать ему всякие негодные товары. И в «Гранд-Отел», где, по существу, находилась черная товарная и валютная биржа и где ютились все эти спекулянты, заключались громадные сделки, и оттуда же шли по всему городу разговоры обо всех ловких проделках, о колоссальных куртажах, о сбыте негодных товаров и пр., и пр.

Но в мою задачу не входит повторение этих слухов и разговоров, и потому я не буду их повторять. Однако было одно обстоятельство уже общественного значения, вышедшее за пределы простых слухов и ставшее одно время довольно сенсационным, о котором я вкратце и упомяну. Как я отметил выше, около советского правительства * ютилось немало темных дельцов. И вот в Стокгольме же произошло несколько убийств (не могу привести, сколько именно было случаев) людей, ведших дела с представительством. Убийства эти произошли при обстоятельствах весьма таинственных, и вскоре в городе заговорили о какой-то специальной организации, расправлявшейся с близко стоявшими к представительству лицами... Слухи ползли и ширились и принимали подчас какие-то фантастические размеры... Об этих убийцах и убийствах Воровский написал брошюру под заглавием, если не ошибаюсь, «Лига убийц». Я читал ее и, насколько помню, она ничего не разъяснила. И вопрос этот так и остался, в сущности, весьма загадочным... Когда-нибудь беспристрастная история раскроет его, а также и роль Воровского...

Между тем приехал Красин. Мы встречались с ним почти каждый день и, само собою, все время говорили о том, что у нас обоих болело — о России, обмениваясь нашими впечатлениями и наблюдениями. Сообщил он мне подробности — уже общеизвестные — о разгоне Учредительного собрания...

Как и понятно читателю из вышеизложенного, мои впечатления были в высокой степени мрачны. Не менее мрачен был взгляд

* Вероятно, представительства. — *Ред.*

Красина как на настоящее, так и на будущее. Мы оба хорошо знали лиц, ставших у власти, знали их еще со времени подполья, со многими мы были близки, с некоторыми дружны. И вот, оценивая их как практических государственных деятелей, учитывая их шаги, их идеи, учитывая этот новый курс, ставку на социализм, на мировую революцию, в жертву которой должны были быть, по плану Ленина, принесены все национальные русские интересы, мы в будущем не предвидели, чтобы они сами и люди их школы могли дать России что-нибудь положительное. Мы отдавали себе ясный отчет в том, что на Россию, на народ, на нашу демократию Ленин и иже с ним смотрят только как на экспериментальных кроликов, обреченных вплоть до вивисекции, или как на какую-то пробирку, в которой они проделывают социальный опыт, не дорожа ее содержимым и имея в виду, хотя бы даже и изломав ее вдребезги, повторить этот же эксперимент в мировом масштабе. Мы ясно понимали, что Россия и ее народ — это в глазах большевиков только определенная база, на которой они могут держаться и эксплуатирова и истощая которую они могут получать средства для попыток организации мировой революции. И притом эти люди, оперируя на искажении учения Маркса, строили на нем основание своих фантастических экспериментов, не считаясь с живыми людьми, с их страданиями, принося их в жертву своим утопическим стремлениям... Мы понимали, что перед Россией и ее народом, перед всей русской демократией стоит нечто фатальное, его же не минуешь, море крови, войны, несчастья, страдания... Было поистине страшно. Ведь мы оба с юных лет любили наш народ, худо ли, хорошо ли, чем-то жертвовали для него, для борьбы за его светлое будущее, за его свободу. В нас не погас еще зажженный в юные годы светоч нашего, для нас великого и дорогого идеала — добиваться и добиться того момента, когда наш народ в лице своих государственных организаций, им излюбленных, им одобренных, им установленных, свободно выскажет свою волю — как он хочет жить, в чьи руки он желает вложить бразды правления, каково должно быть это правление... И мы понимали, что, как мы это называли, «сумасшествие», охватившее наших экспериментаторов, есть явление, с которым следует бороться всеми мерами, не щадя ничего.

Бороться!? Но как? Чем? Мы понимали, что борьба в лоб, при завоеванных уже большевиками позициях, бесцельна и осуждена на провал. Мы понимали, что они, худо ли, хорошо ли, но спаяны

крепкой спайкой, состоящей из сплетения личных эгоистических интересов, как бы известной круговой порукой, общим их страхом перед тем, что они натворили и еще натворят, и что это положение обязывает их цепко держаться друг за друга, то есть прочно и стойко организовываться и хранить свои организации и дисциплину, как бы жестока она ни была, ибо в них заключается их личное спасение от гнева народного... Мы видели, как деморализована и дезорганизована наша демократия, раз достаточно было какого-то ничтожества урицкого (употребляю это имя в нарицательном смысле) для того, чтобы сломать и уничтожить то светлое, что представляет собой Учредительное собрание. Мы не обвиняли ее. Но мы с печалью констатировали, что великая идея в своем воплощении оказалась слабой и беспомощной как внутри себя, так и вне, ибо разгон Учредительного собрания прошел, можно сказать, незамеченным — никто не встал на защиту его... Это дало и дает основание для глубоко неверного и глубоко неискреннего заключения, что идея эта уже изжита народным сознанием, что она уже погибла в самом народе. Нет, мы верили еще в жизненность самой идеи, в ее историческую необходимость, понимая, что лишь дезорганизованность демократии, сжатой тисками относительной организованности большевиков, была настоящей причиной провала Учредительного собрания.

Мы оба отлично сознавали, что новый строй несет и проводит ряд нелепостей, уничтожая технические силы, т. е. то, что теперь принято сокращенно называть «спецами», деморализируя их, возводя в перл создания замену их рабочими комитетами, которые в лучшем случае, при самом добром желании, беспомощно бьются в вопросах, им совершенно непонятных. Равным образом мы хорошо понимали, что стремление изничтожить буржуазию было не меньшей нелепостью. Мы сравнивали ее с буржуазией западноевропейской и ясно находили ее еще молодой, только что, в сущности, начавшей развиваться и становиться на ноги, что она по социально-историческому закону должна была еще внести в жизнь много положительного, еще долго и в положительном же направлении влиять на жизнь, толкая ее вперед. Словом, что этот социальный класс и у нас, и в Европе, и на всем свете еще должен нести свою историческую, культурную и прогрессивную миссию, улучшая человеческую жизнь, толкая ее на путь широкой свободы. Оставаясь марксистами, мы не могли, конечно,

не отдавать ей в этом справедливости и не могли не защищать ее права на существование, пока в ней еще зреют творческие силы, пока ее исторический путь еще не закончен... Но я не буду приводить и развивать все эти, в сущности, социально-азбучные истины, я упоминаю о них только для того, чтобы читателю была ясна та психология, которая определяла собою наши рассуждения и обоснования. Но перед нами стояла российская современность, в широком понимании этого слова, не помнящая родства, все забывшая, готовая все ломать и губить. Мы отдавали справедливость искренности заблуждений этих людей (я говорю об искренно, по невежеству, заблуждавшихся, а не о тех, которые старались и стараются примазаться к победителям, подпевая им в тон, и стремящихся только устроить свои личные дела и делишки, сделать карьеру, нажиться, имя которым легион), и тем более мы приходили в ужас...

И сколько времени могло это продлиться?

Мы неоднократно возвращались к этому вопросу, ставя его друг другу. Красин, дольше моего наблюдавший Россию при большевиках, сокрушенно разводил руками и начинал сомневаться в скоротечности их власти. И не только потому, что он считал их абсолютно сильными, а исключительно по сравнению с неорганизованностью самого населения, его усталостью, проникшей все сознание населения, впавшего в состояние какой-то инертности, состояние как бы общественной потери воли, у которого точно руки опустились... И сравнивая это состояние российских граждан, хотя и недовольных большевицким режимом, но упавших духом и не способных к борьбе, с громадной энергией, хотя бы и энергией отчаяния и инстинкта самосохранения большевиков и их относительной организованностью, он говорил:

— Да, раньше, когда ты приезжал в Петербург, я думал, что это вопрос недолгого времени... Как-то верилось еще в силу населения, которому большевицкий режим совершенно отвратен, верилось, что у него не иссякли еще силы к борьбе... Но уже одна только проделка с Учредительным собранием, этот разгон его без всякого протеста со стороны демократии, которая вяло и в общем безразлично проглотила эту авантюру, навела меня на сомнения в моем прогнозе... Они все забирают в руки, бессмысленно тратят все, что было накоплено старым режимом, и кто его знает, не затянется ли это лихолетье года на два, на три... пока хватит старых запасов,

пока можно реквизировать и хлеб, и деньги, и готовую продукцию и можно кое-как — хотя чёрт знает как — вести промышленность... Словом, я не предвижу скорого конца...

Доводы его, а также и тех, кто прибывали, правда, все реже и реже из России и которые высказывали все те же соображения, но в состоянии уже полной паники, начинали и мне казаться основательными... Было немало людей, переоценивавших силу большевиков и исключительно ей, а не в связи со слабостью и инертностью населения, приписывавших их успех и потому предрекавших их долговечность... Словом, разобраться тогда в этом вопросе было очень нелегко...

Так мы часто беседовали с Красиным и никак не могли прийти к каким-нибудь определенным выводам, основательному прогнозу.

Между тем в России события шли своим чередом. Объявилась самостийная Украина. И Красину и мне одна крупная банковая организация (не назову ее имени) предложила ехать в Киев и стать во главе организуемого там крупного банка, от чего мы отказались. Из Петербурга мы (особенно Красин, конечно) получали письма с предложением разных назначений. Но мы все отклоняли, ибо никак не могли принять какого-либо решения и стояли в стороне от жизни, все топчась на одном месте... Однако мы должны были, чисто психологически должны были принять какое-нибудь окончательное решение. А жизнь не стояла и двигалась вперед... Брест-Литовский мир⁸ вошел в силу, и в Берлин выехало советское посольство во главе с Иоффе...

И вот в наших рассуждениях, в нашей оценке момента постепенно, не могу точно отметить как, наступил перелом. Встал вопрос: имеем ли мы право при наличии всех отрицательных, выше вкратце отмеченных, обстоятельств оставаться в стороне, не должны ли мы, в интересах нашего служения народу, пойти на службу Советов с нашими силами, нашим опытом и внести в дело, что можем, здорового. Не сможем ли мы бороться с той политикой оголтелого уничтожения всего, которой отметилась деятельность большевиков, не удастся ли нам повлиять на них, удержать от тех или иных безумных шагов... Ведь у нас были связи и опыт. Ведь мы могли бы — так казалось нам — бороться хотя бы с уничтожением технических сил, способствовать их восстановлению, могли бы бороться с стремлением полного уничтожения буржуазии, которой, как мы в этом не сомневались, рано было

еще петь отходную * и т. д. У нас зарождалась надежда, что сами большевики в процессе управления страной должны будут прийти к пониманию своих истинных задач, должны будут отказаться от многих своих утопического характера экспериментов, что вовлечение их в нормальные отношения с Западом, с его политикой, с его экономической жизнью, с его товарным обращением по необходимости заставит советское правительство равняться по той же линии и что прямолинейное стремление к коммунизму сейчас, немедленно же, само собой начнет падать и падет. Мы ведь были уверены, что люди, ставшие правительством, люди, которых мы в общем хорошо знали по прежней нашей революционной работе и которые отличались бескорыстием, любовью к народу и беззаветным стремлением жертвовать собой в интересах определенных политических и экономических идеалов, неся на себе громадную ответственность, естественным ходом жизни будут принуждены сознать эту ответственность и не смогут не стать в конечном счете правительством народным, осуществляя стремления русского народа, его идеалов, его хозяйственные цели... Мы надеялись, что, став на эту здоровую почву, они откажутся от многого эксцессивного, ибо сама жизнь будет от них этого требовать, и не только русская жизнь, но и жизнь Запада, в круговорот которой, повторяю, должна была войти и Россия... И таким образом, силой чисто объективных обстоятельств правительство вынуждено будет пойти по линии неизбежных уступок и отказа от твердокаменного проведения в жизнь всего того, что еще находится в идеальном будущем и от осуществления чего жизнь человеческая еще очень далека... Мы верили, что правительство вынуждено будет понять, что Россия не может и не должна оставаться в стороне от мирового хозяйства и мировой политики, не может изолироваться от них и отгородиться китайской стеной...

Не забывали мы и того обстоятельства, что, благодаря саботажу, проводимому в виде протеста против большевиков, они, неопытные в деле государственного управления, были поставлены в крайне затруднительное положение и обречены были на ряд

* Только порядка ради напомним о «нэпе». С введением его буржуазия показала свою силу, устойчивость, жизнеспособность. Позволю себе сказать, что в этой новой политике, провозглашенной Лениным, не малую роль играл и Красин.

ошибок, хотя бы чисто технического свойства, что запутывало еще больше положение...

Таким образом, идя по этому пути, мы с Красиным пришли к решению пойти на службу к Советам... И мы условились, что первым поедет Красин, оглядится и выпишет меня. Вскоре он и уехал в Берлин помочь Иоффе, не беря никакого квалифицированного назначения. Примерно в конце июня я получил от него и от Иоффе приглашение принять должность первого секретаря посольства. Между прочим, Красин писал, что в посольстве, благодаря набранному с бора да с сосенки штату, царит крайняя запутанность в делопроизводстве, в отчетности, в хозяйстве, что мне предстоит много кропотливой работы, так как хотя служащие и неопытны, но самомнение у них громадное и амбиции хоть отбавляй, что равным образом хромает и дипломатическая часть... Словом, он настоятельно звал меня, аттестуя Иоффе, которого я не знал, с самой лучшей стороны и уверяя меня, что я с ним хорошо сойдуся. Я принял предложение и в начале июля 1918 года выехал в Берлин.

